

М.А. ЛИТОВСКАЯ
 (г. Екатеринбург, Россия)

ЧТЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА КАК ТЕМА СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Одним из общих мест, связанных с советским обществом, является утверждение, что Советский Союз — самая читающая страна мира. Неоднократно предпринимавшиеся попытки разоблачения этого утверждения как некорректного¹ наталкиваются на воспоминания о людях, сидевших с книгами в транспорте, о почти поголовном чтении в метро, в том числе и стоя, о первом школьном выпускном экзамене — обязательном для всех сочинении на литературную тему и о таком же обязательном вступительном сочинении при поступлении в вузы. Популярность «Литературной газеты» и литературно-художественных журналов, хронический дефицит книг начиная с 1960-х годов, негласная обязательность знакомства с новинками литературы для любого человека, считавшего себя интеллигентным, — эти и другие факты, конечно, не могут опровергнуть утверждения, что по репертуару издаваемых книг, по количеству издаваемой литературы на душу населения Советский Союз отставал от большинства стран Западной Европы, США или Японии. Но они подтверждают, что в советское время чтение заполняло значительную часть времени многих советских граждан, а самому процессу чтения придавалось особенное значение.

Обучение способности понимать и пересказывать тексты художественной литературы считалось воспитанием необходимейшего социализационного навыка человека культурного. Традиционно рано родители приобщали маленького ребенка к книге, знакомство с книгами входило в программы детских садов, литература была обязательным значимым² предметом в средней школе. Чтение значительного количе-

¹ В России наиболее последовательно эту критику ведут Л. Гудков и Б. Дубин. См., например, их статьи: Издательское дело, литературная культура и печатные коммуникации в сегодняшней России // Либеральные реформы и культура: сборник статей. М., 2003; Литературная культура: процесс и рацион / Гудков Л. Дубин Б. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. СПб., 2009.

² В отличие, скажем, от школьных «рисования» или «пения», само название которых указывало на овладение некоторыми практическими навыками в самовыражении себя через искусство. Эти навыки не воспринимались как обязательные, поэтому соответствующие школьные предметы учениками и родителями воспринимались как второстепенные, малозначимые, наряду, скажем, с «трудом». Предмет «чтение» существовал в советской школе только в начальных классах, в средних сменяясь «литературой», знание которой проверялось на квалификационных экзаменах; «рисование» и «пение» не сменяли «изобразительное искусство» или «музыка», и преподавание их заканчивалось в средней школе.

ства сложных для восприятия текстов, относящихся к национальной и мировой классике, входило в школьную программу, а любые попытки упростить процедуру чтения с помощью хрестоматий, печатающих тексты «в отрывках», комиксов, дайджестов неизменно встречались советской педагогической общественностью «в штыки» и считались недостойными.

В то же время адаптация сложной литературы происходила, хотя и не столь явным образом. Исследователи советской повседневности неоднократно показывали, что массовое чтение выполняло в Советском Союзе как обучающую, так и нормирующую функцию. Специфичность чтения в СССР состояла в том, что государство не только навязывало потребителю-читателю тексты, скроенные и сшитые по предложенным им лекалам, но и под разными предлогами диктовало списки обязательных или желательных текстов разного качества, в свою очередь, проверяя усвоение соответствующих интерпретаций этих текстов через экзамены, дневники читателя, читательские конференции и т.п.³ Подобная гиперопека, несомненно, помогала «выравниванию» сознания советского человека, более успешному манипулированию читательским сообществом и отдельными его представителями⁴.

Постсоветская реальность резко изменила ситуацию⁵. Новые реалии сделали неактуальной проблематику многих советских произведений, их исключили из школьных программ и маргинализировали в вузовских. Исследователи показали «вмонтированную» в структуру текстов официальной (и не только) советской литературы нормирующую составляющую. Государственно-утвержденные, «спущенные» для обязательного исполнения рекомендательные списки сменились аннотациями-рекомендациями в «глянцевых» журналах, которые успешно

³ См. разработку разных аспектов этой проблемы, например: *Добренко Е.* Формовка советского читателя. СПб., 1997; *Хархордин О.* Обличать и лицемерить. СПб.; М., 202; *Fitzpatrick Sh.* Education and Social Mobility in Soviet Union, 1921—1934. Cambridge, 1979.

⁴ Конечно, развитый навык чтения приводил к расширению кругозора, развитию навыков рефлексии и к другим, не предусмотренным государством последствиям, в частности к тем, что были отмечены Бродским в Нобелевской лекции («Литература учит человека частной жизни»).

⁵ Привыкнув быть читателем, во многом именно через чтение советский человек переосмыслил историю своего государства на излете его существования. «Запойное» чтение в этот период стало своего рода наркотической потребностью, когда подавляющее большинство читателей, привыкшее к более или менее жесткой руководящей руке, впервые столкнулось с различными вариантами толкования одних и тех же фактов, получив незнакомую доселе свободу выбора собственного мнения. На этом фоне особенно разительным был резкий спад интереса к чтению в постсоветское время и качественное изменение структуры чтения.

потеснили на рынке гордость советской культуры — литературно-художественных, как их стали иронически именовать, «толстяков». Многие специфические практики советского производства, распространения и чтения книг ушли в прошлое, стали экзотикой.

В 2000-е годы схлынули первые эмоции, связанные с распадом советского государства, все более широко осмысливается опыт советской жизни не только через огульное отрицание или, напротив, абсолютное приятие советского прошлого, но и через осознание того, что осуждение/ностальгия не единственные чувства, которые можно применить к его изображению и осмыслению. Тот факт, что современные жители России живут внутри советского наследия и это побуждает их соотносить зачастую противоречащие друг другу знание об истории с семейной и личной памятью, постепенно становится общим местом и обогащает представления об эмоциональных связях с предшествующей эпохой. Уехавшие из России, в свою очередь, выстраивают свои нарративы о неоднозначных причинах, побудивших их сделать выбор. Все более активное расширение музеефикации и ревитализации советского включает в себя как представление травматического опыта, так и закрепление за советским определенного символического капитала⁶.

Из-за значительной роли, которую ситуация «встречи» с художественной литературой играла в жизни ушедшего в прошлое государства, она сама нередко оказывается предметом воспоминаний. В мемуарных текстах о советском времени людей, которых распад СССР застал уже взрослыми, почти обязательны рассказы о том, как «доставали» книги, как «под одеялом» читали запрещенную литературу, как преследовали за написание «неудобных» книг, как чтение одних и тех же книг спланивало людей. Истории «про книги» составляют важную составную часть образа Единого Государства, стремящегося полностью контролировать публичную и частную жизнь своих граждан, и людей, сопротивляющихся стремлению полностью их подчинить. Чтение в этом случае интерпретируется как форма сопротивления слабым: значительная часть населения спланивается вокруг Трифонова, Шукшина, Распутина или Искандера, тем самым создавая противовес официальному объединению в рамках коммунистической партии. Более независимые выбирают формы чтения антисоветской в широком

⁶ Специфичность постсоветской «частичной ностальгии» становится темой и проблемой многих текстов искусства. Происходит переработка поэтики и проблематики соцреалистических текстов; художественному анализу подвергаются специфические культурные практики советской власти, их качество и последствия; идет активное переписывание истории советской культуры в «советских» книгах из серии «ЖЗЛ». Все эти тексты отличаются амбивалентностью пафоса, стремлением актуализировать советское наследие, сделать его предметом активной рефлексии.

смысле слова литературы, развивая в себе критическое по отношению к государству и его политике мышление. В мемуарных текстах ностальгического характера мы сталкиваемся все с той же идеей сплочения народа вокруг прекрасной литературы. Знание литературы, чтение определенного типа книг оказывается мощным идентификационным признаком, мимо которого, естественно, не могут пройти и авторы художественных текстов, так или иначе ставящие проблемы специфики советского (шире — российского) устройства жизни.

Одной из проблем оказывается тот факт, что советское (стереотипизированное, пропагандистское, милитаризованное и т.п.) искусство продолжает оказывать свое воздействие на воспринимающих. Социалистический реализм — авторитетное и малоизвестное для широкого современного читателя прошлое литературы, но многие тексты, особенно первого этапа существования этого метода, по-прежнему производят сильное впечатление и на тех, кто далек от социалистических идей. Современная художественная литература предлагает свои варианты объяснения этого феномена. Одним из ярких примеров таких объясняющих текстов является роман Михаила Елизарова «Библиотекарь» (2007).

Книгу предваряет эпиграф из Андрея Платонова: «Рабочий человек должен глубоко понимать, что ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнения сделать нельзя. Песня дороже вещей...» Действие романа беллетристически развивает этот тезис. Фабула «Библиотекаря» основана на истории о литературном наследии некоего Дмитрия Александровича Громова, советского писателя десятого ряда, чьи романы, казалось, «бесследно канули в макулатурную лету»⁷. После распада СССР возникает тайное сообщество поклонников-фанатиков, которые начинают смертоносную, невидимую остальному миру войну за обладание книгами Громова. Зачем? Случайно выясняется, что при соблюдении двух условий — Непрерывности чтения и Тщания — написанные «заунывным слогом, добротными, но пресными предложениями» безликие тексты способны дать своим читателям ничем более не достижимое счастье приобщения к коллективному опыту. При соблюдении правил чтения тексты превращаются в «Книгу Силы, Книгу Власти, Книгу Ярости, Книгу Терпения, Книгу Радости, Книгу Памяти, Книгу Смысла»⁸. Суггестия заурядных, даже в советское время никому особенно не нужных книг не может быть объяснена ни биографией читателей, ни их тоской по прошлому, ни даже жаждой утраченной после распада СССР цельности.

⁷ Елизаров М. Библиотекарь. М., 2007. С. 7.

⁸ Там же. С. 9.

Елизаров предлагает простое и вполне убедительное для широкого читателя объяснение механизма их воздействия. Так, книга Памяти «Тихие травы» о «босоногом детстве» «подложила... ярчайший фантом, несуществующее воспоминание <...> настолько сердечное и радостное, что в него сразу верилось из-за ощущения полного проживания видений, по сравнению с которыми реальные воспоминания были бескровным силуэтом. Более того, этот трехмерный фантом воспринимался ярче и интенсивнее любой жизни и состоял только из кристалликов счастья и доброй грусти... У „воспоминания” была прекрасная подкладка, сплетенная из многих мелодий и голосов. Там угадывались „Прекрасное далеко” и „Крылатые качели”, белая медведица пела колыбельную Умке, бархатным баритоном Трубадур воспевал „луч солнца золотого”, трогательный девичий голос просил оленя умчать в волшебную оленью страну: „Где сосны рвутся в небо, где быть живет и небыль”. Вот под это полное восторженных слез попури виделись новогодние хороводы, веселье, подарки, катание на санках, звонко тявкающий вислоухий щенок, весенние проталинки, ручейки, майские праздники в транспарантах, немислимая высь полета на отцовских плечах <...>. На словах это, конечно, звучит не очень впечатляюще, Но в тот вечер, когда действие Книги исчерпалось... я понял, что буду сражаться за Книгу Громова, за выдуманное детство. Поразительно, как легко память смирилась с дискриминацией. Книжный фантом не претендовал на кровное родство, в конце концов, он был гляцевым ворохом старых фотографий, треском домашнего кинопроектора и советской лирической песней. И все же настоящее детство сразу покатило на задворки — долгий поезд, стылый караван заурядных событий, которыми я не дорожил»⁹.

Выдуманное детство импонирует персонажам-читателям — одиноким, разочарованным, потерянными в жизни людям. Книги предоставляют им переживания, несопоставимые с тусклой обыденностью, создают иллюзию эмоционально наполненной счастливой жизни, возвращают надежду на новое обретение смысла существования. Тайная сила соцреалистического слова, по мнению главного героя, заключена в его герметизме и способности создавать образ некоего, пусть никогда не существовавшего, но идеального мира, которого не хватает читателю: «Земной СССР был грубым несовершенным телом, но в сердцах романтических стариков и детей из благополучных городских семей отдельно существовал его художественный идеал — Союз Небесный. <...> Повзрослевший, я любил Союз не за то, каким он был, а за то, каким он мог стать, если бы по-другому сложились обстоятель-

⁹ Елизаров М. Библиотекарь. С. 63—64.

ства...»¹⁰. В проблеме существования/несуществования особого типа реальности, которую сегодня определяют как советскую, и состоит отличие переживаний героев Елизарова от также нередко воспроизводимой постсоветской литературой тоски по поколенческой общности, основанной на единых воспоминаниях не очень разнообразного в своих материальных проявлениях, но, несомненно, бывшего советского детства.

«Библиотекарь», по определению рецензента «Книжного клуба 36,6», есть «сказка о потерянном времени, ложной ностальгии и варварском настоящем», роман выражает «реакцию поколения 30-летних на тот мир, в котором они оказались», на «ту странную иллюзорную ностальгию, с которой это поколение вспоминает свое советское детство»¹¹. «Ложная» ностальгия по советскому тех, кто только начал жить при советской власти, основана на запечатленном в искусстве образе советского космоса, который, прекратив свое земное существование, перешел в духовное пространство переживания заставшими его людьми¹². При всей кажущейся уязвимости подобной позиции она представляет один из вариантов объяснения неисчезающего обаяния многих текстов давно, казалось бы, устаревшего большого стиля.

Но проблема состоит не только в обаянии текстов, подменяющих малоинтересное даже для его непосредственных участников прошлое,

¹⁰ Там же. С. 438.

¹¹ Елизаров М. Библиотекарь. Книжный клуб 36, 6 // <http://www.club366.ru/books/html/99127.shtml> (последний просмотр 10.07. 2009).

¹² Двусмысленность пафоса романа — оправдывающего советскую эстетику и ностальгию и безыллюзорно объясняющую их — была сразу замечена критикой, которая, во-первых, отделила роман Елизарова от текстов типа сорокинской «Трилогии о Льеде», а во-вторых, стала рассматривать его в контексте проблематики 2000-х годов. См., например: «Проживающий ныне в Берлине харьковчанин Михаил Елизаров («Ногти», «Pasternak») с ходу заслужил репутацию птенца из гнезда В. Сорокина — птенца, впрочем, многообещающего, с прожорливой фантазией, умеющей подбирать и конвертировать в изобретательную прозу самые выморочные мотивы и сюжеты. Между строк «Библиотекаря» Сорокина тоже искать не надо; чего искать-то, вот он — в гомерических ли батальных сценах, которых тут неимоверное количество, с натуралистично гвоздящими друг дружку топорами, цепями, косами и палицами представителями „библиотек” — конкурентов, в общей ли конструкции, недвусмысленно отсылающей к сорокинской конспирологической трилогии про „Братьев света”. Однако железная пята деконструкции, у Сорокина столько лет давившая крепкие орешки соцреализма до полного расквашивания официозных речевых стилистик, у Елизарова наносит удар в сторону чуть ли не противоположную. Со всеми, конечно, положенными амбивалентными ужимками, с необходимым набором фиг в карманах, Елизаров делает глубокий реверанс в сторону расточившейся Советской Империи и ее выморочной официальной культуры; оборачивает маразм — магией. Декодированная Книгой Смысла, громовская нафталиновая графомания оказывается колдовским Семикнижием, развернутым заклинанием» (*Гаррос А.* Код СССР // Эксперт. 2007. № 25 (566):2 июля).

но и в ином, непредусмотренном, казалось бы, воздействии, которое литература оказывает на читателя. Невидимый мир громовцев, состоящий из миссионеров, неопитов и посвященных, раздирает своего рода гражданская война, побеждают в которой старухи из дома престарелых, поддерживающие себя с помощью Книги Силы. Чтение не только сплачивает, дает волю к жизни и утешает, но и становится толчком к осознанию своей избранности, а значит, поводом для презрения к другим, причиной самоуничтожения адептов книг Громова. Литература, будя в людях «чувства добрые», одновременно превращает их в зомбированных солдат, готовых за нее (не за идеи, выраженные в ней, а за право единолично владеть текстами, а значит, и спрятанными в них смыслами!) драться и умирать¹³. Можно было бы списать этот эффект на критику милитаризованного сознания, «встроенного» в структуру текстов соцреализма, но аналогичная тема возникает и в другом романе, написанном в это же время, — в «ГенАциде» В. Бенгисена. Только в нем речь идет уже не о советских текстах, а о классическом наследии русской литературы: «...назначенная министерством культуры группа компетентных литературоведов и историков... выбрала из всего литературного наследия России основополагающие и, на их профессиональный взгляд, действительно ценные произведения»¹⁴. Другое дело, что практика распоряжения этим наследием оказывается вполне советской.

В основе «ГенАцида», как и у Елизарова, лежит фантастический допуск. В жизнеподобную, хотя и созданную в соответствии с узнаваемыми литературными стереотипами «реальность» современной России, вводятся некие связанные с чтением события, правдоподобие которых разрушается энергично развивающейся трэшевой фабулой. Так, в романе В. Бенгисена таким событием оказывается Указ президента РФ «о мерах по обеспечению безопасности российского литературного наследия», согласно которому «консолидация вокруг общенациональной идеи» требует, чтобы «все совершеннолетние граждане Российской Федерации... в трехнедельный срок, проявляя выдержку и самообладание, взяли на себя охрану литературного наследия России». Для этого необходимо «распределить вышеуказанное литературное наследие между всеми гражданами нашей страны и добиться того, чтобы каждый житель нашей необъятной Родины в трехнедельный срок...

¹³ Единственный человек, прочитавший единственную уцелевшую книгу Смысла, становится Хранителем Отчизны: «Который нынче год на дворе? Если свободна Россия, неприкосновенны ее рубежи, значит, библиотекарь Алексей Вязинцев стойко несет свою вахту в подземном бункере, неустанно прядет нить защитного Покрова, простертого над страной. От врагов видимых и невидимых» (*Елизаров М.* Библиотекарь. С. 439).

¹⁴ *Бенгисен В.* ГенАцид. М., 2009. С. 23.

выучил отведенный ему отрывок литературного текста (или же целое произведение в зависимости от объема) с последующим тестом на знание оногo»¹⁵. Согласно этому указу, жителям деревни Большие Ущеры достались стихотворения «Перевертень», «Жизнь», «Ладомир» В.Хлебникова и другие столь же произвольно выбранные тексты вроде отдельных глав из «Евгения Онегина», «Чевенгура» Платонова, «Очарованного странника» и «Зверя» Лескова, «Натюрморта» Бродского, заумных стихов Крученыха. Все тексты без исключения, действительно, считаются отечественной классикой, хотя подавляющая часть их незнакома жителям постсоветской деревни: чтение для большинства персонажей романа осталось в школьном прошлом.

Перспектива заучивания малопонятных текстов ни у кого из деревенских восторга не вызывает, одни называют это экспериментом над живыми людьми, другие «байдой» и «шнягой всероссийского масштаба»¹⁶. Но поскольку указ надо выполнять, то литературные тексты заучиваются, то есть в прямом смысле слова проникают в сознание масс, становятся актуальными. Что меняется от этого в жизни новых читателей? Сначала литература дарит новые темы для разговоров, порождает непривычные формы досуга, стимулирует возникновение новых языковых форм для обозначения новых в жизни деревенских жителей реалий. Дремавшая доселе творческая активность большеущерцев находит свой выход в «читках»: «...это будоражило умы, волновало сердца и придавало деревенскому быту щемящее ощущение „жизни”»¹⁷. Привыкшие к бездумному молчанию начинают думать, литература подталкивает косноязычных к попытке выразить свою мысль¹⁸, говорящих только о повседневных нуждах — вести философские разговоры о литературе и жизни¹⁹.

Но довольно быстро непривычное спервоначалу занятие приводит наиболее впечатлительных большеущерцев в смятение: Федюня, начитавшись «Очарованного странника», уходит искать Малые Ущеры²⁰; Сериков, пораженный Чеховым, хочет понять цель своего

¹⁵ *Бенигсен В.* Там же. С. 23.

¹⁶ Там же. С. 50.

¹⁷ Там же. С. 21.

¹⁸ Один решает, что цель ГЕНАЦИДа — объединить «народ... вот этими знаниями через пространство» (С. 81), когда в одном конце страны человек заучивает 8-ю главу лесковской повести, а в другом — 9-ю и 7-ю. Другого литература подталкивает к размышлениям о здоровье, третьего — о собственной неготовности выразить себя.

¹⁹ «Проза — это разговор по душам, а поэзия — разговор с душой» (С. 158).

²⁰ «Россию-матушку обойти надобно. Перед смертью жизнь настоящую хочу узнать» (С. 134). Здесь, как и во многих других ситуациях текста, узнаются мотивы из В. Шукшина. Другое дело, что герои писателя советской эпохи не идут дальше тоски и «чуждачеств».

существования, пытается что-то изменить, но потом кончает жизнь самоубийством, оставив в качестве предсмертной записки цитату из Чехова «Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше». Избавленные от безмыслия, но не видящие смысла в жизни, жители деревни сначала затевают конфликт между «заиками» и «рифмачами», который перерастает в тоже многократно описанный в русской литературе «бунт, бессмысленный и беспощадный». Литература, заставив человека выйти за пределы обыденного, показала ему, насколько все «бессмысленно и невыносимо», поставила перед ним «два проклятущих вопроса: „кто виноват?“ и „что делать?“»²¹. Жить, не реагируя на эти вопросы, оказалось невозможно. Ответ большеущерцев прост: виноваты те, кто выбили их жизнь из привычной колеи, то есть книги и хранитель этих книг — библиотекарь.

По идее задачей чтения должны были стать «подъем самосознания» и объединение «вокруг единой национальной идеи»: «все мы, то есть вся Россия, объединяемся на почве любви к отечественной литературе»²². Вместо этого в шукшинской по типу деревне с полным набором «чудиков» разыгрывается трагедия «Поднятой целины»: столичный умник библиотекарь Пахомов погибает от рук перевозбужденных литературой народных мстителей. Распределяя среди жителей тексты для заучивания, он чувствует себя «Творцом, вдыхающим жизнь в мертвые тела большеущерцев»: «В это тело вдохнем любовную лирику, а в это, наоборот, революционную, в то немного философской прозы, а в это чуть-чуть юмора»²³. Ему, стороннику идеи хаотичности истории, в этот момент кажется возможным триумф воли: «Может, только так и надо с этими людьми. Учить любви силой. Душу возвышать указами. В приказном порядке сердца искусством облагораживать»²⁴. Но художественные тексты вызывают в деревне последствия, напоминающие революционные, как они были описаны в той же советской литературе: новая идея овладела массами, но массы не справились с идеей. Прочитанное стимулирует персонажей на поиски выхода за пределы очевидного, но, не справившись с той сумятицей, что вызывает литература в их головах, они впадают в ярость, убивая ни в чем неповинных собаку, инородца, библиотекаря и, наконец, поджигают главного виновника их бед — библиотеку. Отчаянье и раскаяние становятся после этого революционного духовного всплеска уделом

²¹ Беннсен В. ГенАцид. С. 274.

²² Там же. С. 59.

²³ Там же. С. 47.

²⁴ Там же. С. 48.

жителей деревни навсегда. Роман заканчивается тем, что « книжки с пепелища, которые либо чудом остались целы, либо не до конца сгорели, большеущерцы растащили по домам. Зачем — одному богу известно. На память, наверное»²⁵.

Автора легко заподозрить в снобизме: народ не в состоянии оценить и совладать с доставшимся ему великим наследством. Но в романе, скорее, ставится другой вопрос: надо ли это наследство ставить в центр организации жизни целого народа. Ведь литература не что иное, как форма мифотворчества. «Миф интереснее фактов. Легенда жизнеспособнее правды. Корни, пущенные альтернативной историей, столь глубоки, что, начни мы их выкорчевывать, выйдет только хуже»²⁶, — рассуждает в своем дипломе Пахомов, поэтому мифы прочно коренятся в народной памяти. Любая «очередная государственная ревизия» истории подталкивает к новому витку мифологизации, при котором бессмысленному набору реально бывших и выдуманных событий придается некий смысл. Литературе в этом тотальном и постоянном мифологизировании отводится одна из решающих ролей. Что такое литература на непросвещенный взгляд? Не более чем мнения частных лиц, выраженные так, чтобы оказывать максимальное эмоциональное воздействие на воспринимающего. Продавщице Таньке, которую половина деревни избрала слушательницей выученных отрывков, в какой-то момент кажется, что «продуктовый магазин наполнился поэтами и писателями всех мастей, которые галдят, кричат, смеются, обливаются слезами, шутят, философствуют и признаются в любви»²⁷.

В центре разыгравшейся «большеущерской трагедии» оказывается библиотекарь, который ощутил себя всемогущим благодетелем. В центре «громовской трагедии» оказался единственный читатель самой редкой книги, которого за обладание полученным знанием приговаривают быть библиотекарем — и он начинает гордиться этой бессмысленной миссией. В более раннем романе Т.Голстой «Кысь» писец Бенедикт сначала полюбил сам процесс чтения и даже стал добровольным библиотекарем-систематизатором запрещенных после Взрыва книг, но затем возмечтал «обронить пушкина от народа, чтоб белье на него не вешали»²⁸, а оттуда уже недалеко оказалось до сожжения инакомыслящих.

Чтение интерпретируется как процедура просвещающая, доставляющая наслаждение, но и опасная: литература оказывается слишком мощно и непредсказуемо действующей силой, чтобы можно было

²⁵ *Бенигсен В.* ГенАцид. С. 309.

²⁶ Там же. С. 93.

²⁷ Там же. С. 85.

²⁸ *Толстая Т.* Кысь. М., 2000. С. 358.

безопасно для государства, элит или отдельных лиц управлять ее возможностями. Возвращаясь к бердяевским идеям о роли литературы в формировании революционного сознания российского народа, современные авторы отчетливо показывают несоответствие тематики, проблематики, поэтики художественных текстов и реакции, ими вызываемой. По сути, происходит пересмотр не качества общества²⁹ или литературы, а той гипертрофированной роли, которая неизменно отводилась литературе в российском, а позже в советском обществе. Символическая структура, по определению наделенная неоднозначностью прочтения, должна была выполнять не функции самовыражения художника, развлечения или многоаспектной критики нравов, но воспитания заранее определенных качеств, формирования идеалов. Не подвергая сомнению низкое (М. Елизаров) или высокое (В. Бенгисен) качество литературы, авторы ставят под сомнение правомочность российского извода проекта Просвещения, частным и крайним случаем которого оказывается советское руководимое чтение.

²⁹ Критическая составляющая при изображении общества в анализируемых текстах велика, но авторы подчеркнуто отказываются от изображения его как однозначно современного, либо уводя действие в будущее, либо гипертрофируя отдельные его черты, либо подчеркнуто опираясь на образцы своих литературных предшественников. Это позволяет придать проблеме более универсальный характер.